

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Эртель
Карьера Струкова

«Public Domain»

1895

Эртель А. И.

Карьера Струкова / А. И. Эртель — «Public Domain», 1895

Повесть «Карьера Струкова» – последнее художественное произведение Эртеля, написанное в 1894–1895 годах. В дооктябрьской критике была сделана попытка отождествить образ главного героя повести и ее автора. В предисловии к книге писем А. И. Эртеля, вышедшей в конце 900-х годов, М. Гершензон утверждал: «Безусловное понимание истины, условное осуществление ее – это один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность – холодна, мертвенна, что теплота жизни – только в компромиссе». Подобная характеристика «приложима» к герою повести «Карьера Струкова», но не к ее автору.

© Эртель А. И., 1895

© Public Domain, 1895

Содержание

I	5
II	15
III	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Александр Иванович Эртель

Карьера Струкова

I

– Скажите, миленький, что же вы – ученым, профессором хотите быть?

Это происходило в Лондоне, лет десять тому назад, на пароходе, скользившем вверх по Темзе, и спрашивала Наташа Перелыгина, дочь купца с среднего Поволжья, у русского дворянина с университетским дипломом, но еще без определенных занятий, у Алексея Васильевича Струкова.

– О, нет, Наталья Петровна, – ответил Струков, – чтобы быть профессором, я очень плохой лектор, да и вряд ли мне дадут кафедру. Ученым? Пожалуй – да, если бы я убедился, что раздвину хотя на вершок так называемые горизонты в моей науке.

– Еще не убедились?

Струков засмеялся.

– Пока нет. Пока все еще никак не выйду из области трюизмов. Думаешь иногда: вот наконец новое. А это новое лишь фактический материал. Правда, до тех пор неизвестный настоящим ученым, но – увы! – предусмотренный ими. Неинтересно иллюстрировать чужие мысли, возьмешь и бросишь... Или работаешь скрепя сердце.

– У вас нет оригинальности, – с важностью произнесла Наташа.

– Может быть-с, – сказал несколько уязвленный Алексей Васильевич. – Но если бы ее так-таки совсем не было, поверьте, я сумел бы преблагодушно взять у кого-нибудь основную идею, нарядить лишний раз эту идею в материалы британского музея и пустить в оборот. Сколько ученых репутаций создавались таким образом!.. Однако мне это противно.

– Ну что ж, вы, значит, ищете оригинальности и понимаете, в чем она состоит. Но у вас-то ее нет. Кто ищет, в том ее нет. Тот, на мой взгляд, несчастный человек... Посмотрите, и с этой стороны какая прелесть – парламент. О, еще лучше, чем с той, от аббатства! И потом, когда веришь в чужую мысль, не ревнуешь к ней, а хочется послужить ей чем можешь. Вы, впрочем, кажется, так и делаете в вашей диссертации? Ведь вы составляете ее по Марксу?

– Почему же вы полагаете, что я составляю ее по Марксу? – с досадой возразил Струков.

– Ах, создатель мой, вот вы и рассердились. По заглавию – раз, по вашему образу мыслей – два. Да и как иначе? Сколько ни встречаешь теперь молодых ученых, все они как на машинке сработаны, все – марксисты.

– Благодарю вас. Очень возможно, что и на машинке, хотя я дивлюсь вашей смелости...

– Ого! Миленький мой, вы опять хотите меня посрамить. Ну, я ничего не смыслю в этих экономических теориях, ну, я не различу: где Маркс и где... как его там, Рикардо, что ли? Ну и довольно, и перестаньте дуться.

– Зачем дуться. Я только хочу сказать, что у Маркса есть мысли превосходно обоснованные, и есть такие, что только намечены. Я в своей статейке хотел доказать одну из последних, – или лучше не доказать, а отметить ее значение в одной маленькой области фактов – в зависимости политических идей в Англии от колебания земельной ренты.

– То есть преблагодушно наряжаете материалами музея, и так далее?

– Да нет же, злой вы человек, эту идею Маркса нужно еще доказать, и следовательно, требуется самостоятельно над ней подумать. Трансформизм провозглашен был Ламарком и даже раньше, если хотите – Лукрецием, однако никто не скажет, что Дарвин... – Струков запнулся и покраснел.

– Ха, ха, ха! Как вы скромны!..

– Так я и знал. Что у вас за страсть смеяться надо мной! Не могли же вы думать, что я...

– Хотите быть Дарвином? Конечно, нет, голубчик, но зачем же вы сконфузились. Я смешлива... иногда. И потом, отчего не хотеть? Плохой тот солдат, кто не надеется быть генералом. Вот вы бросили свою диссертацию, – зачем?

– Месячный перерыв еще ничего не значит...

– Да, месяц, как мы в Лондоне... Ах какие грязные набережные, то ли дело в Париже. Впрочем, и сравнивать-то – кощунство. Не поверите, как мне противен ваш чудовищный муравейник. Там «Альберт», конечно? В жизнь свою не видала нелепей этой штуки! И зачем они его раззолотили? И отчего у них что ни площадь, все Веллингтон да Нельсон, а беднягу Байрона загнали в какие-то кусты в Гайд-Парке, так что и не заметишь.

– У вас решительная антипатия к Лондону. Однако в Париже – лгун на лгуне, шпион на шпионе и высокопарными фразами насыщен воздух, здесь же – богатство, бедность, безвкусице, сила, свобода – все настоящее, все правда. Французы точно их кухня: легко, красиво, вкусно, но, во-первых, ни на что из произведений природы не похоже, а во-вторых, надо двенадцать блюд, чтобы остаться сытым. Подите же хоть к Симпсону на Странде: мясо так мясо, рыба так рыба, ешь без сомнения и сколько хочешь, и называется без затей – «кормление Джон-Булля». На мой вкус это куда лучше, чем выезжать на соусах да на легюмах... на принципах восьмидесят девятого года, в которые никто не верит. Братство! Равенство! Свобода! Они написали эти слова на стенах тюрем и казарм... Что может быть наглее и характернее!

– И опять сердитесь. Ах, создатель мой, какой вы... задира! Не могу же я сравнивать Париж с вашим правдивым чудовищем... в смысле изящества, сударь, в смысле изящества. Ведь Париж – красота, жизнь, блеск, радость. А коли дело пошло на еду, так вот вам притча: Франция – дрожжи, Англия – отлично выпеченный хлеб, но только для употребления верно-подданных ее великобританского величества. Нет слов, что дрожжи кушать нельзя – и кисло и горько, – зато проходит двадцать, тридцать лет и вдруг ими подымается опара на всю Европу!.. Что? А вот вы и не знаете, что такое опара.

– Это все метафизика, Наталья Петровна. Исторический процесс проще и, – увы! – в крайнем своем выражении сводится...

– К теплу, к одежде, к пище? Знаю, знаю, к чему он у вашего Маркса сводится, и не спорьте... и сами вы не верите. Но оставим. Вам больше тридцати лет или меньше?

– Побольше.

– Ого! А мне двадцать два. И до сих пор не придумали, что с собой делать? И диссертацию свою бросили? И зачем живете здесь, не знаете? И своих собственных мыслей не приобрели? А в России у вас есть тетка, есть имение, есть приказчик Фомич и бедная, бедная деревушка бывших ваших крепостных. Миленький мой, в чем же проходит ваша жизнь? Ведь пора, пора взяться за дело.

– Но вы забываете, что после университета пять лет прошли у меня праздно, в городе Чердыни, Пермской губернии... по необходимости.

– Праздно! Вот там-то и подумать бы над собою. А вы штудировали политическую экономию.

– Я пополнял знания, готовился...

– К чему? Повторять чужие мысли?.. Не хмурьтесь, не хмурьтесь, пожалуйста, я не хочу с вами ссориться. Я только спрашиваю: на что вам британский музей и вообще заграница? Ваше дело там, в России, и не по ученой части, если не можете раздвигать горизонты, а просто в захолюстье, в деревне... Не умеете быть оригинальным в науке, будьте в жизни.

– Позвольте, Наталья Петровна...

– Вы покраснели от злости, я не могу с вами говорить. – Нет-с, позвольте. Во-первых, вы за этот месяц могли бы убедиться, что, кроме музея, я кое-что изучал здесь, кое к чему присматривался... и нельзя сказать, что два года заграничной жизни пошли у меня прахом.

Это, пожалуй, можно сказать о шести месяцах, проведенных в вашем Париже, которые действительно ушли у меня почти зря...

– А нам говорили, что вы и теперь нет-нет да и появляетесь на больших бульварах.

– Да, чтобы повидаться с друзьями... и потом, разумеется, здешние туманы надоедают. Но не в этом дело. В Чердыни, кроме политической экономии, я читал газеты, получал письма... Помните, какое ужасное было время? Возможно ли было спокойно думать, спокойно устанавливать свои личные отношения, мечтать о мирной деятельности в мирном захолустье? Нервы непрерывно трепетали. Отовсюду, веяло ужасами, кровью, трагедией... Заграница дала мне на первый раз некоторое забвение, а потом и некоторое спокойствие. Наука, в которой я не сумел быть оригинальным, дала мне первый взгляд на вещи... То, что вы говорите о моей Куриловке, о моих «бывших крепостных», давно было моей целью, но очень недавно я понял, как осуществить эту цель... и понял опять-таки благодаря Лондону. Но не в этом дело. Сами-то вы зачем за границей? Жили в Италии, на Ривьере, в Париже, вот приехали сюда... Зачем?

– Познакомиться с вами, ссориться с вами, надоедать вам... – Наташа засмеялась, потом воскликнула: – Ах ты, создатель мой, опять дождик! – И, обратившись к соседу, внимательно читавшему французскую газету, сказала: – Петр Евсеич, растолкуй нашему сердитому другу, зачем мы с тобой за границей. Ты ведь – отец, на тебе лежит ответственность за мои поступки.

Это был высокий в длинном светло-сером пальто человек лет за пятьдесят, очень румяный и моложавый, с необыкновенно рассеянными глазами, с каштановой бородкой, в которой густо серебрилась седина. Он отложил «Figaro», снял черепаховое *pince-nez*, посмотрел на берега, в тот момент точно завешанные кисеею, и сказал с выражением какой-то ребяческой досады:

– Вот что обозначает не слушать старших, Наталья Петровна. К чему, спросить вас, тащимся за город? Окончательно выше моего понимания. Сравнимы ли здешние музеи с этими вот неосновательными пикниками.

– Вот что обозначает не слушать младших, Петр Евсеич, – шутливо передразнила Наташа. – Зачем за границей? Растолкуй лучше Алексею Васильичу. И ты забываешь, что Кью-Гарден тоже музей.

Но Петр Евсеич опять не обратил внимания на слова дочери и продолжал ворчать:

– Экое дело зелень-то смотреть; такое добро везде найдется. А между тем какие любопытные вещички у мадам Тюссо. Да и в бритиш-музее не успели нумизматику доглядеть. – Потом добавил, с чрезвычайной учтивостью обращаясь к Струкову: – И вас, Алексей Васильич, ежечасно от дела отрываем; чай, не похвалите своего парижского приятеля за письмо и рекомендацию.

Наташа беззвучно смеялась.

– Признавайтесь, правда мы вам надоели? – спросила она.

Струков взглянул на нее и не сразу ответил. С того времени, как они хорошо познакомились, – а это произошло очень быстро, – не проходило дня, чтобы Наташа не шпыняла его. Был он и теперь раздражен ее нападками и бесцеремонной критикой его планов и мыслей... Но, как и всегда за последние две-три недели, стоило ему взглянуть на нее, стоило почувствовать вкрадчивую мягкость в ее голосе, и бесследно исчезала досада, и он не мог отвести глаз от этой сильной, стройной девушки, от ее смуглого лица, вечно заслоненного каким-то непроницаемым выражением, от этих гордо и страстно очерченных губ, на которых в ответ его влюбленному взгляду дрожал затаенный, ласковый, немножко хитрый смех.

– Я счастлив с тех пор, как узнал вас, – тихо и нежно сказал он по-английски.

Наташа вспыхнула от удовольствия, но тотчас же с притворно серьезным видом обратилась к отцу:

– Алексей Васильич говорит, что счастлив с тех пор, как узнал нас. Поблагодари его и спроси, зачем он сказал это по-английски. Какой, однако, у вас прескверный выговор, Алексей Васильич.

Струков густо покраснел и пробормотал какую-то дрянь: он никак не ожидал такого предательства. Потом воскликнул с негодованием:

– Что не мешает вам заставлять меня обращаться к прохожим и полисменам. Вы говорите не хуже моего, отчего же не обращаетесь сами?

– Оттого, миленький, что меня-то уж совсем не понимают, это во-первых, а во-вторых – я не хочу показаться смешною.

Петр Евсеич взглянул на них своими рассеянными глазами, надел опять *pinse-nez* и как ни в чем не бывало погрузился в газету. Пароходик не спеша пробирался по загроможденной реке, то и дело причаливая то к правому, то к левому берегу, забирая и выпуская пассажиров. Было позднее майское утро. Навстречу дул сильный теплый ветер и гнал пухлые облака, из которых едва не каждую четверть часа сеял мелкий теплый дождик. Впрочем, полондонски погода была хорошая: тотчас же вслед за дождем блистало солнце и серые пятна в небе беспрестанно сменялись глубокой лазурью. Отовсюду был слышен непрерывный гул. По мостам торопливо гремели поезда; пароходы и лодки сновали, переполненные народом. В капризной игре теней и солнечного блеска выступали дальние дворцы, парки, фабричные трубы... Струков и Перелыгины сели с Чаринг-Кросса, и до самого Чельси кругом них, как в калейдоскопе, сменялись лица, толпилась разнообразная публика, чуждо звучал язык. Иногда бывало так тесно, что Наташа поневоле прижималась к отцу, а тот, притиснутый и с другой стороны, высоко вытягивал локти, чтобы иметь возможность читать свою газету. Так же, как и Наташа, он ни слова не понимал, что говорилось кругом него, и отчасти от этого так пристально, до последней строчки просматривал «*Figaro*»... Впрочем и Струков, несмотря на то что отлично читал и даже умел писать по-английски, мог разбирать живую речь с большим трудом и лишь тогда, когда говорили ясно, отдельно и литературно. И прежде, до знакомства с Перелыгиными, Алексей Васильевич чувствовал себя безнадежно одиноким в этом море чуждых звуков, – совсем не так, как, например, в Париже, где все, начиная от языка, было ему не в пример знакомее и ближе; но теперь такое отрешение ему нравилось потому, что многолюдная пустыня как-то странно и на особый лад сближала его с Наташей. Прежде он относился к Лондону с боязливым уважением и, в сущности, не любил его и действительно частенько убегал через Ла-Манш «отдыхать»; но с тех пор, как на его холостую квартиру в Россель-Стрит явились соотечественники, все изменилось. Вместе с разгоравшимся чувством к Наташе он стал питать преувеличенную нежность к этому огромному городу, который, казалось, одним своим видом убивал поэзию любви, а на самом деле покровительствовал ей, потому что не вторгался в их жизнь, как непременно вторгся бы Париж с его изяществом, соблазнами, красотой, с легкой усвояемостью французских нравов и интересов, с радостным шумом бульваров.

Но была ли любовь? О, за себя Алексей Васильевич мог поручиться. Он знал это уже потому, что не мог бы ответить, когда началась его любовь, с каких именно пор все ему кажется прекрасным в этой девушке, в какой именно день и час стало замирать его сердце от ее шагов, от шелеста ее платья, от звука ее голоса, от прикосновения руки к ее руке. Ему казалось, что это никогда не начиналось, а было вечно. Ему казалось, что вечно он знал ее – одну только ее в целом мире и, как это ни странно, одну лишь ее он не мог бы описать постороннему человеку и, в свою очередь, не узнал бы в чужом, самом точном описании. Бывало так, что на мгновение он как бы отрешался от волшебного тумана, застилавшего глаза, и смотрел на Наташу, и говорил себе: да ее совсем нельзя назвать красивой; слишком смугла, ноздри велики, овал лица расширен к скулам, рот надо бы поменьше, в манерах есть что-то резкое какое-то самоуверенное удальство, – также и в мыслях и в словах... Но едва она поводила на него краешком глаза или звучал ее смех, ее удивительный, бархатный голос, и безвозвратно исчезала объективная точка

зрения, сменяясь той единственной, с которой смотрит кто любит, с которой все внешнее в любимом человеке сливается с чем-то другим, и самое обыкновенное лицо становится разительным воплощением красоты. И, что всего страннее, Струков вовсе не тогда бывал «объективен», когда Наташа раздражала его своей насмешливостью; напротив, тогда он чувствовал, что любит ее с каким-то злобным и бесповоротным самозабвением; но когда он впадал в раздумье о своей жизни, о судьбе и в связи с этим о чем-то чрезвычайно важном и таинственном, — о том, что на его же языке называлось «вздором» и «мистикой», тогда вот вспыхивало в нем это фотографическое настроение... Впрочем, чем дальше, тем реже и мимолетнее.

Но любила ли она? Как будто бы... А, в сущности, ее чувство напоминало Струкову море иноязычных звуков вот в этой публике, толпившейся на пароходе. Вдруг всплеснет знакомое слово, даже целая фраза, и сделается ясным обрывок разговора, и опять все потонет в непроливаемых волнах... Она любила бывать с ним, радовалась, когда он приходил, уговорила отца еще на неделю остаться в Лондоне, и вместе какая-то досада кипела у нее внутри... Одним словом, что-то мерещилось Струкову, что-то бросало его в радостный трепет, и, не смея выговорить даже самому себе, что его любят, он каждый день ожидал ясных слов или безмолвного разрешения на эти слова, ожидал, что огромное и несколько страшное счастье хлынет на него точно девятый вал.

В Чельси они перешли на другой, совсем маленький пароходик, и сразу сделалось очень тихо и просторно. На палубе сидели только три немца с военной выправкой и непреклонными чертами лица, — они добросовестно проверяли по Бедекеру речные виды, — да старушка англичанка с фальшивыми зубами и непомерным ридикюлем, да молчаливая компания американцев, равнодушно изучавших окрестности в ожидании ипсомских скачек. Темза становилась все спокойнее, уже и прозрачнее; от берегов выступали не грязные, как в городе, а желтые, золотистые под солнцем отмели. Городской шум доносился смутно. За лесом зданий и арками мостов давно уже исчезли и громада парламента с летящим ввысь кружевом своих башен, и дворцы Уайтхолла, и церкви, и придавленный купол консерватории; мало-помалу пароходик миновал и бесчисленное множество скучных, седых, однообразных коробок, из которых составляются бесконечные улицы фабричных лондонских предместий. Потянулась веселая кайма почти непрерывной зелени и неприметно слитых друг с другом городков, с тихими прекрасно вымощенными улицами, с поместьями богатой знати, с историческими «достопримечательностями», мало, впрочем, говорящими русскому сердцу.

— Это выше моего понимания, как тихо везут! — воскликнул Петр Евсеич, откладывая газету и снимая *pinse-nez*.

— Да ты потолкуй с Алексеем Васильевичем... ну хоть о вере, вот тебе и не будет скучно, — сказала усмехаясь Наташа.

— Вот уж в чем я совершенный невежда, — сказал Струков.

— Как же тогда судить обо мне, Алексей Васильич, — опять с чрезвычайной учтивостью произнес Перельгин, и вдруг в его рассеянных глазах заблестал веселый огонек, — ведь я по завету предков эллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читаю, философию ниже очима видех... — Румяные щеки Петра Евсеича вздрогнули, и из румяных уст внезапно вырвался какой-то залиvistый, звонкий, всегда почему-то неприятный для Струкова смех: «ги! ги! ги!» — от которого немцы точно по команде переглянулись и, оттопырив презрительно усы, пробормотали что-то по-своему. Струков только и разобрал: *Die Russen...*

— А я учился в гимназии, да потом прочитал Ренана, вот и все мое богословское образование.

Но этого было достаточно, чтобы Петр Евсеич круто повернулся к Струкову и заговорил с необыкновенным оживлением:

— Вот вы изволите говорить Ренан... Ренан вздор-с, Ренан слащавый человечешка, фразер, особенно в «Жизни Иисуса». В той же Франции есть куда посolidнее Ренана. Любопытен

Гавет, – не читали? Еще того повострее Курдаво, – не ознакомились с его книжкой «Комансе сон форме ле догм»?

– «Comment se sont formé les dogmes»¹, – поправила Наташа.

– Все единственно, – сказал Петр Евсеич, – прононс, матушка, не в счет, кто к тридцати годам диалект выдолбил... Проницательный трактатец, – он похлопал себя по оттопыренному карману пальто, – переводик хочу состряпать; в Женеве, может господь помилует, и тиснем, ги! ги! ги!.. А иное дело и это вздор, Алексей Васильич. То да се, историческая точка зрения, внешности... Любопытно-с, что говорить! Тюбингенская эта школа... занимательно-с... И параллели эти всякие... ги! ги! ги! Однако, на мой взгляд, все это для популярного чтения, – кто хватил выше, тому скучно на исторической точке зрения. Историческая точка зрения не только не все, но и не самое важное-с... ги! ги! ги! Удивляетесь?

– Напротив, нисколько. Для человека науки, я думаю, самое важное найти основные начала явления, его законы, и следовательно...

– Ну да, ну да, – нетерпеливо перебил Перелыгин, – вы вот изволите говорить Ренан, значит, пренебрегали богословием. А я всем ему обязан-с... Внутренний смысл-с... постройки-то внутренний смысл куда умней раскрывается, нежели по Штраусу, либо по господину Ренану. Удивляетесь?

Струков ответил:

– Вы ведь по необходимости шли этим путем? А то конечно, начали бы... не с схоластики?

– Никогда!.. – горячо возразила Наташа. – О, как вы действительно ничего не понимаете в этом. И что такое схоластика? Зачем схоластика? Ориген, Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, Василий Великий – схоласты, по-вашему?

– Ориген – еретик? – с смущением пробормотал Струков.

– Эх, вы... еретик! – воскликнула она, кусая губы, чтобы не рассмеяться.

– Ну, ну, кипятки, молчи! – шутливо погрозились Петр Евсеич и с мягкой улыбкой опять обратился к Струкову: – Это вы правильно, Алексей Васильич, путь мой был по необходимости, почти из-под палки. А что Оригена анафемствовали – не суть важно. Я же вот еретик, по-вашему, – а скажу что-нибудь подходящее, вы ежели и не поверите, так примете во внимание... ги! ги! ги!

– Какой же вы еретик? – удивился Струков.

– Ну, раскольник, все равно да еще беспоповской секты – Спасова согласия-с.

Алексей Васильевич засмеялся и сказал – больше из учтивости, что и в этом так же мало понимает, но по Щапову судя – раскол учреждение почтенное.

– А как же не почтенное, – сказал Петр Евсеич, – афоризм: «Богомерзкок-де перед богом всяк любяй геометрию», – у нас и до сих пор свят... ги, ги, ги! Нет-с, Алексей Васильич, и к Щапову, и к другим ох какие нужны поправки. Вот этак же в Париже пришлось мне насчет Выгорецкого общежития спорить. Они этого не понимают... Тятенька-покойник у меня был некоторый закоренелый столб, – что оставалось делать пока не вывернулся из его когтей? Да и после. Вы не поверите, был я уже глава фирмы, и... тово, развернулся... парти де плизир с французинками и прочее тому подобное... так покойница маменька собственноручно лестовкой отхлестала... ги, ги, ги!.. Аль, говорит, забыл сосуд сатанин, что в кормчей написано: «Або в судне будет латина ела, то измывши, молитва сотвориша»? Вот он каков был путь. Даже с творениями святых отец выходили чудеса: что по-словенски напечатано – читай, а по-граждански – не смей. Спасибо, один уважаемый старец подсобил, урезонил родителя. А с Фомой Аквинатом... ги, ги, ги! Вот случилась история! Приобрел я тайком грамматику Кюнера, изво-

¹ «Как создаются догматы» (франц.).

лите видеть, хотел латынь выдолбить, Аквината прочитать, – ведь западную-то церковь без него не поймешь... Ну, было мне за эту латынь!

– Так и не научились? – спросил Струков.

– Нет, после уж... нанял сосланного ксендза. Как же, как же... и Аквината преодолел, это по варварской латыни, а по старинной – пакостного Овидия Назона прочитал... с ксендзом, с ксендзом – я! И именно это его любовное искусство... ги, ги, ги! Кстати, и в моей жизни подошла распутная полоса...

– Но что же вы нашли поучительного в Аквинате? – поспешил спросить Струков, никак не могший привыкнуть к свободе выражений, свойственной Петру Евсеичу да в присутствии дочери.

– Все одно, что в клинике, Алексей Васильич. Вот вы изволили сказать – схоластики... Поучительный предмет, доложу вам, – и не наша восточная, куда нам! А после расторжения церквей, после того, как великие восточные мастера стены-то уж воздвигли, догматы утвердили... А латиняне тем временем... Чудное дело с Западом-то, Алексей Васильич: все их богословие в кружево ушло. Дерзости в существенном не было, за нее жгли, – дерзость разрывала с богословием, становилась ересью либо наукой, но зато правоверные таких кружев наплели – уму непостижимо... ги, ги, ги! И доплелись. Недаром и в настоящий момент святейший-то их поблажки им не дает: какую штуку сказал на ватиканском-то соборе! А прав, потому что по всей логике идет от Тертуллиана: кредо, квиа обсурдум есть...

– *Credo, quia absurdum est*², – поправила Наташа. Она будто бы читала брошенную отцом газету, а на самом деле, внутренне помирая со смеху, наблюдала за Струковым, который притворялся, что ему очень интересно.

– Ты все гордишься ученостью, Наталья Петровна, но это все одно, – сказал Петр Евсеич и, решительно не замечая изнеможения своего слушателя, продолжал с прежним увлечением: – «Верую, понеже бессмыслица», – завещал им Тертуллиан... Читывали? Нет? Напрасно-с... На манер нашего протопопа Аввакума был человек... ревности неугасимой. Это вот его кредо все западное богословие собой насытило, его неукротимый дух отпрыгнул в Торквемаде... ги, ги, ги!.. В полном виде якобинец был покойник, а Чаадаев скорбел, что мы не в том же приходе!.. Что же-с, отчего и не поскорбеть, ась? Но ежели взять Восток, Ориген – светило, Алексей Васильич, не шутя говорю – светило; а тем паче те, что вот Наташечка назвала... Я им всем обязан-с... Я после них так Ренана понял, что Ренан *жи* док-с, потому что на тех же ихних латинских коклюшках воспитался... Вот что такое Ренан-с. Критика его занимательна, да не в том дело-с. Она бьет, да только по католичеству, а не по вселенской церкви. Своя своих не познаша. Вот у нас теперь появилась критика... Читали? Посерьезней будет Ренановой...

– Кое-что читал... обрывки... Признаться, и это не по моей части. А вы как полагаете?

– Да как сказать... ежели коренным образом рассмотреть, так в новгородской летописи вот что записано: «Той же зимы некоторые философов начата пети: О, Господи помилуй! а друзей: Осподи помилуй!..» Первые-то, значит, наша критика, а «друзеи» – ихний Ренан... – Тут Перелыгин залился почти до истерики, но потом точно спохватился и добавил: – Хотя занимательно, занимательно... для народа-с.

– Вы хотите сказать – для большой публики? – с недоумением спросил Струков.

– Именно для большой публики... для стада-с. Я вот и Курдаво собираюсь выпустить на российском диалекте... Тоже для стада. Что же-с, чем бы дитя ни тешилось. А на самом деле камень, на он же поставлена церковь, этим не расшатаешь, нет-с... Да и на что, господи помилуй? Кружево обобьется... Фома-то Аквинат. Ну-с, что ж, не в кружевах сила. Ах, мудрецы были мастера... Первые, первые-то, Алексей Васильич, те, что и стадо прибрали к рукам, и высшие дерзновения духа насытили. Литургию Ивана Златоуста помните? Нет? Ги, ги, ги!

² Верю, потому что это абсурдно (*лат.*).

Напрасно-с... Святые восточные отцы знали, что делали, а даже по части художеств далеко до них вашим Шекспирам. Гоголь очень это понял, ежели говорить по совести.

Неизвестно, долго ли продолжал бы Петр Евсеич ссылаться на совершенно незнакомые и неинтересные для Струкова вещи и все более и более запутывал свои собственные мысли, взгляды и симпатии, но в это время Алексей Васильевич не вытерпел:

– Я вас решительно не понимаю, – вырвалось у него. – То вы собираетесь переводить вольнодумные книжки, то утверждаете, что не расшатаешь и не надо... и что обедня выше Шекспира?

Перелыгин взглянул на него, смутился...

– Н-да, на самом деле оно тово... не вполне по логике, – сказал он с беспокойной улыбкой. – Как, Наташечка?

– Просто вы говорите на разных языках, – сказала она.

– Да, да, на разных языках, – подхватил Петр Евсеич.

Струков пожал плечами и тотчас же раскаялся: такой на него был брошен гневный взгляд.

– Но какое же мировоззрение у Петра Евсеича? Мне очень интересно, – поспешил он спросить.

– Именно интересно, какое мировоззрение, – с видом заинтересованного свидетеля подтвердил Петр Евсеич.

– Дело ясное, миленький родитель наш прежде всего безграничный вольнодумец и вместе большой охотник до этих вот богословских вопросов.

– Так, так, именно охотник... ги, ги, ги! – с удовольствием согласился Перелыгин.

– Церковь он любит не больше, чем Вольтер, – тоном насмешливой лекции продолжала Наташа, – но если католическую церковь считает чуть не язычеством, то в восточной видит такую внутреннюю силу, против которой и Ренаны, и Штраусы, и даже наша новая критика будто бы ни к чему. По его, это годится только для забавы... для игры ума.

– Правильно, Наталья Петровна! – с восторгом воскликнул Петр Евсеич.

– По его, если эта внутренняя сила церкви и ослабла, так не от вольнодумцев, а от сильных покровителей. И началось с Никона.

– А с Петра Первого паки и паки.

– Но принципы вселенских учителей будто бы живы даже теперь и будто бы дело Никона с течением веков сметется, и даже Рим повернет к Востоку, и что тогда действительно «врата адовы не одолеют ю...». И будто бы человечеству так и надо, то есть масе...

– Сиротам, – вмешался Петр Евсеич.

– Да, сиротам. А избранным можно, во-первых, этим наслаждаться... ну, как наслаждаются архитектурой Notre-Dame или логической красотой Спинозы, а во-вторых, отвергать, так отвергать под самый корень. И не с исторической точки зрения, или как те, кто сам жаждет Христа, или как деисты, а просто – я, имярек, не нуждаюсь и не боюсь, и сам себе бог. Но это надо и годится только для них, для аристократов... А Петр Евсеич именно аристократ, несмотря что родился от самых заскорузлых кержаков. Вот почему он все отвергает: законы, совесть, веру... и вместе готов целые сутки доказывать правильность двухперстного сложения.

– Ну, пошла, пошла! – со смехом перебил Петр Евсеич. – Насчет совести ты врешь: ее можно называть иначе, а отвергать нельзя. Это выше моего понимания. А что касательно аристократизма – ты бы бога молила: дедушка-демократ давно бы тебя в светелку запечатал.

– Что ж, может, и лучше, если бы запечатал, – с внезапной серьезностью ответила Наташа.

– Вот шутка, Алексей Васильич, – весело сказал Перелыгин, – ведь правда, что ихний пол шалее на воле! Мать ее, Елена Порфирьевна, так ни с того ни с сего с судебным следователем от меня сбежала. Феербахом нас развивал, первый мой приятель был... Взяла и сбежала. Зачем, спросить ее? На вольном воздухе закружилась.

– А любовь позабыл? Впрочем, ты и любви не признаешь, – сказала Наташа.

– Я, матушка, все признаю, да действую-то не очертя голову. «Я же, согласно моему разуму, преписую себе и теми поучаюсь», – это Нил Сорский говорит, – а поступать без рассудка окончательно выше моего понимания. К чему? Зачем? Вот, Алексей Васильич, расскажу вам: был старичок один, петербургский купец Аристов. Он до того додумался – на общеженстве особую веру утвердил... с московским мещанином с Никитой Спициным... Так и прозывается – аристовщина. Вот это я понимаю.

– Все гнусные и пустосвятные воображения и их заключения по выраженному таинству изbleвал сей адский сосуд, – проговорила смеясь Наташа.

– Неужели вы признаете мормонизм, Петр Евсеич?! – почти с испугом воскликнул Струков.

– То многоженство, а это – общеженство, – мягко поправил Перелыгин.

– Тогда и целомужество?

– Само собой.

– Но, в таком случае, простите меня... – Струков не решился докончить и только побавровел от негодования.

– Разврат, желаете сказать? – спокойно помог ему Петр Евсеич. – Да-с, кто развратен, для того разврат. Как и в единобрачии. А говоря вообще – самая трезвая постановка физиологического вопроса.

– Тогда и у хлыстов трезвая?

– Ги, ги, ги! Я и забыл про хлыстов-то. Да-с, и у них трезвая-с. Пожалуй, еще почище, нежели в аристовщине... Да что, Алексей Васильич, в этом деле нужно разобраться. Ведь это страшные слова одни-с. Ведь ежели понимать по совести – так либо безбрачие, и сурьезное, по Оригену: отсеки уд твой, либо – туши огни, как у хлыстов. Само собой, у них это по-мужицки, но я принцип беру, не форму, – форму возможно обдумать и тово... поскладней. Но во всяком разе – где ваше единобрачие, там обязательно лупанарий, – хороша тоже поправка! – а ежели не лупанарий, так вот эти трагедии разные. Зачем, спрашивается, бежать к следователю? Сама чахоткой кончила, малый спился... Окончательно выше моего понимания. Вникните посмелей, отчего магометанство не знает проституции? Отчего у тех же хлыстов нравы не в пример чище, нежели в ваших православных деревнях? То-то и оно-то, Алексей Васильич. С природой очень умничать не пристало. Я вам вот еще что доложу-с...

Но дальше Струков не мог стерпеть. Теперь уже не смелость выражений возмущала его, а эта апология безнравственности, это «поругание любви». И не любви вообще, – о, если бы речь шла только об этом, теория Перелыгина и то, что он рассказывал о странном сектантстве, пожалуй, заинтересовала бы Алексея Васильевича и, кто знает, подвинула бы и его на смелые мысли. Но теперь ему казалось, что речь идет именно о его любви и что Наташа недаром так загадочно молчит, – что она, может быть, соглашается с отцом, может быть, представляет его безобразную теорию идеалом. И все в нем заныло от тоски, от негодования... от ревности, – от вихрем пронесшейся нелепой мысли, что Наташа, может быть, жила уже по Аристову! И он с необыкновенной горячностью напал на Петра Евсеича, с необычайным для самого себя красноречием стал доказывать, что «любовь столько же индивидуальна, как личность», что «коренясь в темных недрах физиологии, она расцветает в самой высокой душевной сфере», что «это не физиологический вопрос, но вопрос всей жизни – больше чем религия».

– Кошунственно то, что вы говорите! Безбожно то, что вы говорите! – кричал он с такой яростью, что немцы опять презрительно зафыркали, а старушка с фальшивыми зубами пересела подальше. – Это значит сводить человечество к звериному состоянию... у зверей ведь тоже нет продажного разврата и чистые нравы!.. Это значит растоптать святыню, погасить солнце, обратить мир в конюшню!

– Да постойте-ка... да погодите, Алексей Васильич, – с величайшим наслаждением от такой горячности противника возражал Перелыгин, – ведь это все метафизика, заезженные

слова-с. Какая такая святыня? Что обозначает безбожие? Вы справедливо изволили говорить: дело не в том-с, дело в материи, в видимости, в фактах-с. «Иллюзии гибнут – факты остаются...» Ги, ги, ги! Чай, не забыли сего изречения?

– К чему тут иллюзии? Святыня – факт, а не иллюзия.

– Ага! А накормить голодного не святыня? Эрго! И то святыня, что делают реченные хлысты. Тоже голод, тоже пища.

– Черт знает что! Хлеб везде, для всех хлеб...

– И любовь везде, для всех.

– Нет-с, любовь так же, как звук голоса, черты лица, ум, талант, характер, – у всякого посвоему и, повторяю, составляет личность.

– Что же из того? Как ни расцветай в неделимое, основной закон ведь для всех один: материя. Вы сами изволите утверждать: кто делает историю? – тепло, одежда, пища. А я добавляю: и половой аппарат-с. Вы говорите: на смену нынешнего строя объявится общинный, – и я то же провозглашаю... то есть о своем сюжете. Вы говорите: завтра не должно быть нищеты и драм из-за наживы, а я сверх того: и проституции, и любовных драм. Помилуйте-с, вы только слов страшитесь... жупелов-с... а на самом деле вы в полном виде со мной согласны...

Это было совсем возмутительно. До нынешней поездки Перелыгин почти всегда отмалчивался, когда Алексею Васильевичу случалось высказывать свои взгляды на историю, и по всему было заметно – не разделял их, а теперь с явным лицемерием занимал ту же позицию и нагло компрометировал эти взгляды. И еще то злило Алексея Васильевича, что веселый блеск в глазах Перелыгина заменился каким-то острым, сухим, – «еретическим», так вскользь подумал Струков, – что в его голосе появились всхлипывания и взвизгивания – и в чертах неприятно румяного лица захлебывающийся восторг, а залиvistый смешок звучал откровенной язвительностью. И вообще вся его манера спорить была противна Струкову. В споре он не путался, напротив ставил свою мысль прямо и резко, со всеми последствиями, и точно ястреб впиался в мало-мальски неопределенные слова и мнения противника, называя такую неопределенность шумихой, махровыми цветами, метафизикой. По его выходило так, что если поэтическая любовь, так и бессмертие души, и автократическое божество, и какие-то особенные мистические силы, – одним словом, нечего отрекаться от катехизиса Филарета и называть себя социалистом, если верить в поэтическую любовь.

– Причем тут социализм, – грубо крикнул Струков, – можно быть социалистом и верующим. Вон в Берлине придворный проповедник социалист, – и не дал договорить Петру Евсеичу, начавшему было, что «это по всякой логике ерунда: социализм в союзе с церковью», а еще больше возвысил голос и возвратился опять к вопросу о любви. И хотя по какому-то тайному страху ни разу не взглянул на Наташу, но говорил только для нее, одну ее убеждал со всею силою обостренной страсти, нежности... почти отчаяния.

Петр Евсеич несколько раз пытался перебить его, несколько раз вставлял язвительные ремарки, все упираясь на то, будто бы Струков сам себе противоречит, и наконец как-то совершенно по-бабьи взвизгнул, что социализм – вздор вопиющий, потому что «стадо» с обветшалым порядком мышления разорвать не может, а «избранные» не нуждаются в социализме, чтобы разорвать. Но когда Струков и на этот раз не стал слушать – и не бросился защищать социализм, и не рассердился, что его сопричислили к «стаду», Петр Евсеич совсем замолчал и только нетерпеливо подергивал свою бородку да ерзал на месте, потом учтиво, но уж без всякого блеска в глазах стал смотреть на Струкова, потом сделался рассеянным и скучным, даже пробормотал: «Эка врут, разбойники!..» Наташа упорно смотрела в газету, изредка лишь бросая взгляд на Алексея Васильевича. Впрочем, ни одного его слова не пропустила, а в «Figaro» ни одного слова не поняла. Потом вдруг встала и воскликнула смеясь:

– Аминь!.. Кью-Гарден, господа диспутанты. Ой, есть хочется!

II

С пристани пошли к парку и по дороге слегка позавтракали в крошечном кабачке. Пользуясь тем, что Струков волей-неволей перестал излагать свои монологи, Петр Евсеич и когда шли от пристани, и за завтраком, и даже когда ходили по теплицам покушался возобновить спор, задирая на все лады своего противника, но дочь каждый раз останавливала его.

– Отец! Дай фонтану отдохнуть, сказано у Пруткова, – твердила она и однажды послала обычную стрелу по адресу Струкова, добавивши, что под фонтаном надо понимать его «неистовую» защиту любви «единой и нераздельной, как французская республика». Впрочем, Струков не огорчился на этот раз, а, напротив, пришел в тайный восторг: сказано-то это было так ласково, с таким милым оттенком близости, – с сочувствием к его защите. И, вообще, как только сошли с парохода и как только Алексей Васильевич осмелился поднять глаза на Наташу, он понял по ее смягченному взгляду, по ее прелестному лицу, с которого на этот раз совсем исчезла столько мучившая его непроницаемость, что он был нелеп в своих подозрениях, что она на его стороне, и мгновенно его настроение сделалось радостным, и вся душа опять переполнилась жутким и волнующим чувством ожидания. В этом настроении он и в Петре Евсеиче не замечал теперь ничего отталкивающего; ему было только весело смотреть на него, весело наблюдать, как тому все хотелось спорить, а Наташа останавливала. И хохотал же Струков, когда за завтраком Наташа с несравненным комизмом рассказала, как в Риме Петр Евсеич познакомился с одним патером из русских и ровно двадцать часов спорил с ним о преимуществе церквей, а в Париже столь же бессонно опровергал знаменитого русского агитатора, доказывая, что тот проповедует «барщину» и что Выговское общежитие совсем не социализм.

– Ну, пошла, пошла стрекотать! – шутливо ворчал Перелыгин. – Сама же ты до утра в постель не ложила, слушала. Да еще подсобляла отцу... Не как теперь, не дашь рта разинуть.

Как был хорош Кью-Гарден! Струков не раз посещал этот парк, но ему казалось, что никогда здесь не было такого солнца, такой яркой и сочной зелени и вообще такой праздничной красоты. Дождевые облака почти совсем рассеялись, ветер утих, на лужайках блистала роса, блестели обмытые листья на деревьях, в воздухе веяло теплом и благоухающими испарениями. Наконец-то Наташа восхищалась без всяких ссылок на превосходство Парижа; даже сказала, что ни с чем нельзя сравнить эту сильную, богатырскую растительность; что она теперь только понимает, как скучна французская манера разводить публичные сады с сплошными аллеями и мелким щебнем вместо газона; что одинокие деревья, луга, рощи, раскинутые живописными островами, гораздо лучше всяких Версалей и Люксембургов.

Но Петр Евсеич изъяснял восхищение только в оранжереях, и то, по словам дочери, лишь потому, что в нем проснулся неисправимый коллекционер, любитель курьезов. Действительно, в богатых коллекциях Кью-Гардена его больше всего интересовало все исключительное, редкое: огромные пальмы, папоротники, кактусы, прихотливые с бесчисленными оттенками орхидеи, неправдоподобной величины *victoria regia*. С удовольствием отметил он и порядки, язвительно сравнивши их с отечественными: странное отсутствие начальства и привратников, легкомысленное доверие к публике, преступное безразличие между «чистым» и «черным» народом. Но после оранжерей и после того, как осмотрели «пагоду» и недавно открытую North-gallery, и «американский сад» с магнолиями, и постояли около прекрасного озера с свежими, бархатными берегами, и вступили наконец в пределы Aboretum'a, где Наташа тотчас же стала восторгаться могучими деревьями, стволы которых ужасно были похожи на вороненую сталь, и еще особой породы буком с багровой листвою, – после всего этого на благообразном лице Петра Евсеича появилась такая скука, а рассеянные глаза с таким равнодушием стали скользить по окружающему великолепию, что Наташа с улыбкой посмотрела на него и сказала:

– А знаешь, Петр Евсеич, мы тебя отпустим. Но что ты будешь делать один?

И Струков не мог не засмеяться при виде внезапного оживления Петра Евсеича и как он проворно вынул из кармана желтенький томик Courdaveaux³, и, учтиво раскланявшись, направился к скамейке. Здесь и уговорились встретиться.

Молодые люди пошли одни в глубь парка. И как только остались одни, Наташа чаще стала восклицать: как это хорошо! какой величественный дуб, или бук, или каштан, но восклицала не прежним искренним голосом, а точно по обязанности, и чтобы не говорить того, что хотелось бы сказать без всякого отношения к дубам и каштанам. У Струкова тревожно билось сердце. С чувством, похожим на сновидение, он видел, что происходит в душе Наташи, о чем она думает сейчас, отчего вздрагивают и сохнут ее губы и заметно волнуется высокая грудь... Слова признания, любви, страсти так и толпились в его воображении; и вдруг с побледневшим лицом, с страдальческой улыбкой на губах, но сам изумляясь своему развязному тону, он сказал в ответ на ее новое восклицание:

– Я уже заметил, что Петр Евсеич не терпит живописи, стихов и вообще искусства. Помните, как он скучал перед эльджинскими мраморами и смеялся, когда я хвалил Надсона, и облил презрением «Видение святой Елены» Веронеза? Но оказывается, то же самое и с природой.

– Да, он говорит, что и красота нужна только для народа... для стада, по его терминологии, – сухо ответила Наташа.

– Какой, должен быть, несчастный человек ваш отец!

– Почему же?

– Но чем жить после этого?

– Он говорит – рассудком, размышлением, а в промежутках тем, что занимательно. Он ведь богат и живет бездной интересов. Собирает монеты, кресты, иконы, рукописи; разводит породистых свиней; любит рысаков, изобретает для них упряжь, экипажи. Теперь вот купил большое имение... Мало ли чем живет! Впрочем, решительно ничем не дорожит и в любую минуту может бросить все. – Наташа помолчала и потом добавила с особенным чувством: – Это единственный оригинальный человек, которого я до сих пор встречала, и я его страшно люблю.

– Далась вам оригинальность, – пробормотал Струков, но Наташа не расслышала, о чем-то думая. Алексей Васильевич с отчаянием чувствовал, что в ее настроении происходит какая-то зловещая перемена и что еще немного – и самое важное так и останется не высказанным, может быть, навсегда... и все-таки продолжал: – Воображаю, как для него нелепы его прежние единоверцы.

– Почему? – с удивлением спросила она. – Почему прежние? Во-первых, он и не думал разрывать с ними: спросите-ка, какой документ везет из Рима в обличие одного из Никоновых новшеств. А во-вторых, совершенно уверен, что в деле раскола даже формальная правда не на вашей стороне.

– Даже формальная?! – воскликнул Струков, широко раскрывая глаза.

Это восклицание ее совсем рассердило.

– Ах, создатель мой, да вы читали когда-нибудь серьезную старообрядческую литературу... Ну хоть «Поморские ответы»? – сказала она. – Знаете ли, кто при царе Иване Грозном постановил признанный православный собор и как этим постановлением полтораста лет руководились все святители и иерархи? Ведь легко было никонианцам сказать о Стоглаве «яко же не бысть» и предать его анафеме, но последовательным людям нельзя было согласиться с этим. А «Проскипитарий»? А «Прения с греками о вере»? Известно ли вам, что был Арсений Суханов? Это был царский патриарший, с вашей стороны посланец, а что он рассказал о церковном невежестве тогдашних греков, о том, как помутился источник, из которого Никон поил Русь. А

³ Курдаво Пьер-Шарль – французский писатель (род. в 1821 г.) – автор книг по теории и истории искусства и литературы.

невероятные гонения! Не говорю о таких наших мучениках, как Аввакум, «протосингел российской церкви», – он сам очень уж огрызался, но народ, но масса. «Всюду плач и вопль, и стоны, – пишет очевидец, – вся темница во градах и в селех наполнилася христиан древляго держащихся благочестия; везде чепи бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты Никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови исповедничьей омочахуся»... Да что очевидец! Вспомните самосожжения – уж о них-то, наверное, слышали, вспомните законы царевны Софьи – «Двенадцать статей» их называют, – что ни статья, то плаха и кнут, и пытки... Этого, ей-ей, достаточно, чтобы оправдать в старообрядчестве даже уклонения от формальной правды, даже нелепость... все, все!

Наташа грозно взглянула на Струкова и вдруг рассмеялась: восторженное выражение его глаз чересчур свидетельствовало о том, что он наслаждается звуком ее голоса и разгоряченным лицом и более чем равнодушен и к «Никоновой ереси», и к «древлему благочестию».

– Вот уж я думаю, никогда не слышал Кью-Гарден таких речей, – сказала она.

– Но как вы это все помните!

– Я дочь своего отца, Алексей Васильич. А потом, вот как придут к нам бывало старички да старушки и просят почитать. И читаешь им про старину, а они, миленькие, плачут и умиляются. Ведь есть вещи изумительные по своей душевной красоте; хоть бы взять письма Аввакума к Морозовой. Я на что крепка – и то слеза прошибала. А читаю я хорошо, истово, с чувством. Ах, создатель, как я любила наши тихие вечера!

– Но сами-то вы, Наталья Петровна, неужели серьезно смотрите на вероисповедные различия?

Наташа, в свою очередь, широко раскрыла глаза.

– Чудак вы, – ответила она, усмехаясь, – я с четырнадцати лет «Русским словом» зачитывалась, – и весело продолжала: – А знаете, кто меня развивал? Вовсе не Петр Евсеич: ему вечно недосуг, он был у меня учитель, из профессоров никонианской семинарии... ой, ой, какая пика!

– И вы, как это бывает, полюбили своего учителя? – с насильственной улыбкой спросил Струков.

– Я? Нет. Я никогда никого не любила. Но он, хитрец, готовил меня в супруги... а вместо того взял да на моей француженке женился. Петр Евсеич дал ей приданое.

– А зачем вы сказали, что было бы лучше запереть вас в светелку?

– Разве я сказала? – с смущением выговорила Наташа и после мимолетного колебания ответила: – Потому что сама не знаю чего хочу... Потому что когда узнаю, не остановлюсь ни перед чем...

– А на пароходе вы согласны были со мной! Вы были за меня, я это видел. Ведь вы согласны, что любовь как это солнце?

– Не знаю... Не встречала такой любви.

Струков прикоснулся к ее руке, и, весь холодея от какого-то сладкого ужаса, прошептал с нежностью:

– Милая моя, разве вы не видите, что я люблю вас именно так, именно такою любовью... – Она молчала, не отнимая руки. – Я люблю вас, – повторил он тоскливо.

– А не боитесь меня? – сказала она своим прежним насмешливым голосом. – Я ведь дочь своего отца: свободу выше всего ставлю.

Но рука ее, обтянутая лайковой перчаткой, так беспомощно дрожала в его руке и так была горяча, что ему почудился совсем иной, не насмешливый, не угрожающий ответ, и с уверенной смелостью он привлек к себе девушку, ища ее взгляда, ее лица, ее поцелуя.

– Друг мой, милый друг мой. Я ничего не боюсь, я люблю тебя, – говорил он, сам не замечая, как музыкально и вкрадчиво звучит его голос.

Наташа положила руки на его плечи, подняла лицо... О, какая на нем торжествующая, радостная и вместе недоумевающая вспыхивала и погасала улыбка!

– Мне кажется, что и я вас люблю... Конечно, люблю! – прошептала она и точно огнем обожгла его губы. Потом выскользнула из его объятий и торопливо пошла вперед, повторяя: – Пойдем, пойдемте... Нехорошо в публичном месте целоваться.

Час спустя они сидели на берегу Темзы. Это было в том идиллическом уголке Кью-Гардена, где река едва движется, отражая в своем зеркале и склоненные над нею деревья, и изумрудную тень изгороди, и потонувший в садах того берега городок с старинным серым замком. Стояла тишина, как где-нибудь в глубине России, и только стучало весло о корму одинокой лодки, да иногда взвизгивал локомотив в отдаленье, и смутно, тем ровным и важным гулом, что бывает в сосновом бору, напоминал о себе огромный город. Дорожка вдоль берега была в этот день так же безлюдна, как и весь парк вдали от теплиц. Редко проходили посетители и раздавался иноязычный говор. Но Наташа не обращала никакого внимания на этих редких прохожих и нетерпеливо хмурилась, когда Струков понижал голос при их приближении, выпускал ее руку, старался погасить влюбленное выражение на своем лице. В ее голосе и словах не было теперь и тени насмешливого задора, в странно похорошевшем лице не было и тени непроницаемости, вся она сосредоточилась в каком-то стремлении и не сводила глаз с Алексея Васильевича. А он говорил о своем прошлом, о своих намерениях, о том, что, действительно, «какой же он ученый!» и что самые затаенные его мечты всегда влекли его в русскую глушь, в деревню, на скромную культурную работу.

– Миленкий мой! – прерывала она его, и в этом привычном обращении звучала теперь совсем другая нота. – Миленкий ты мой! Это уже решено, и мы воротимся вместе... на матушку-Волгу!.. На Волгу – широкое раздолье, а не в твою мурью – Куриловку... Я ведь тоже никогда не жила в деревне и тоже стремлюсь в нее... А, натворим мы с тобою чудес!.. Но ты Расскажи, как полюбил меня. Все мелочи, все подробности Расскажи... с самых тех пор, как мы разыскали тебя. Ну, вот я вошла... Или нет-нет, прежде я спрашивала о тебе, и горничная не понимала, а ты услышал мой голос и отворил дверь. Помнишь? Помнишь? Ты мне только понравился, понимаешь ли? Гляжу, – среднего роста человек, глаза печальные, глубокие и такие славные кудри. И все потирает руки, будто от холода... и ласковая улыбка. Но и только, миленкий, не хочу тебя обманывать. Потом не знаю... Должно быть, ты зажег меня собою. Ведь это бывает? Да? Бывает?.. А все-таки как я тебя злила, когда ты зажег меня, как мне хотелось тебя злить... И знаешь, когда ты сердился, мне это очень, очень в тебе нравилось... О, мягкостью меня не проймешь, я ведь – «супротивная»! И ты красивее, когда сердись... знаешь ты это? Вот когда бунтуешь и еще теперь... Посмотри, посмотри на меня: ты сейчас поразительно хорош... А что хорошо это, что я по ниточке могу тебя разбирать, а? О, дорогой мой, Алеша мой!.. Неужели опять идут?.. Противные люди!.. Ну, рассказывай все, все, все... Нет, подожди. Не правда ли как чудно: вдруг мы неизвестно зачем приезжаем в Лондон, знакомимся с тобой, ходим в музеи, в парламент, на митинги, осматриваем все, что обозначено звездочкой у Бедекера, и вдруг женимся. О, какие чудеса!.. Не смотри на меня так, не хочу... Рассказывай. Или нет, миленкий, еще секундочку. Ведь это та самая любовь, о которой ты говорил? Мне так хочется ласкать тебя, целовать, обнять тебя крепко, крепко... Ведь та самая?.. Но зачем же Петр Евсеич говорит свое? Неужели и он прав? И любят друг друга, стыдно сказать отчего? И когда погасает кровь – погасает любовь? О, милый мой, это бывает, и как я думала над этим, как мучилась... Я отлично помню, как это было в последний раз с отцом – вот с той француженкой, что вышла за профессора. Какой ведь красавец был мой Петр Евсеич и сколько у него было приключений... И знаешь, дорогой мой, он логичнее тебя... Молчи, молчи, я только о том, что если материя, – понимаешь ли? – то он логичнее тебя, что в твоих рассуждениях есть скачок, на который ты не имеешь права, если только одна материя. Молчи же, Алеша, иначе я не посмотрю вон на тех долговязых, – должно быть, давешние

немцы? – и поцелую тебя... Та, та, та, вам, кажется, не нравится, что я так откровенна? И что не похожа на очень благонравных девиц?.. То-то!.. Но я хочу по-твоему любить, я люблю тебя по-твоему, мой желанный... А ты?..

Сколько раз и с какой мучительной ясностью Струков вспоминал впоследствии этот лихорадочно-быстрый лепет, в котором точно искры в дыму не рассуждающей страсти мелькали зловещие сомнения, сквозила неугомонная, мятежная душа. Но теперь он только слышал упоительную музыку признаний, видел только взволнованное лицо, неизъяснимая прелесть которого напоминала ему полузабытое впечатление от какой-то чудесной сказки, и готов был заплакать от счастья... А жемчужные облака отражались в реке; где-то звонко щебетала птичка; зеленели луга и деревья, окропленные сверкающей росой; стояла тишина, как в далекой, милой России.

Было около шести часов. Наташа устала и успокоилась, и шла под руку с Струковым в тихом и кротком настроении. Но, завидя вдали Петра Евсеича, сидевшего на том же самом месте с развернутой книгой в руках, она снова оживилась и шепнула Струкову:

– Ты посмотри, какой милый чудак! Знаешь, давай не сразу скажем ему, а будем при нем на «ты», вот увидишь, он ничего не заметит. – Потом сказала громко: – Жив? Дочитал своего безбожника?

– Скоренько осмотрели, – произнес Петр Евсеич, вскидывая на нее более чем когда-нибудь рассеянные глаза. Затем аккуратно сложил книжку, посмотрел на часы и вскрикнул с внезапной досадой: – Это окончательно выше понимания, как вы долго ходили!

– А ты только теперь и заметил? Слышишь, Алеша, он теперь только заметил, что долго. Может быть, ты и есть захотел?

– Еще бы, матушка, не захотеть, давно пора. Слыханное ли дело – приехать в Лондон зелень смотреть!.. Целый день убили!..

Наташа, едва сдерживая душивший ее смех, толкнула Струкова. Тот начал было: «Милая Наташа...», но страшно покраснел и запнулся.

– Ну милая, ну Наташа... А дальше, дальше-то что? – с звонким хохотом восклицала она. – Петр Евсеич? Да посмотри же, какой он уморительный... совершенный жених!

– Своевольница, Алексей Васильич... Извините великодушно, – с учтивой улыбкой, но по-прежнему с рассеянным выражением в глазах сказал Перелыгин.

– Да говорю же тебе – жених! Он сделал предложение, я приняла... соглашайся теперь и ты, если ничего не имеешь против метафизика, марксиста, никонианца и дворянина без определенных занятий.

– Это действительно так, Петр Евсеич, – стыдливо сказал Струков, приискивая торжественные слова, – и я имею честь просить у вас руки Натальи Петровны.

– Разумеется... Весьма благодарен... – с совершенным недоумением пробормотал Петр Евсеич, прикасаясь к полям шляпы, но тотчас же понял по лицу Струкова, что это уже не шутка, и с печальным и растерянным видом обратился к дочери:

– А как же я-то, Наташок?

– Ах, создатель мой, да неужто думаешь, я тебя покину? – вскрикнула Наташа. – Слушай мой план. Ты отдашь нам Апраксин хутор – это и будет Алеше вместо ценза, а сам, как и хотел, станешь жить в Старом Апраксине... и у нас, либо мы у тебя – каждый день, каждый день, – ведь семь верст всего! – И повторила растроганным голосом: – Неужто я тебя брошу, миленький мой!

Петр Евсеич несколько повеселел.

– А! Это иное дело, – сказал он, – я было подумал, что здесь останешься. Да что же, вы по выборам желаете служить? Выбрать выберут – народу у них мало... то есть цензовых-то дворян.

– Я бы хотел попробовать в мировые судьи.

– И в мировые выберут-с. Отрекомендуем вас, познакомим... Мы, признаться, были вот с ней в тех местах только однажды, да и то на неделю, – вот эти барские маестности покупали; но в уезде я кое-кого знаю, рекомендация нашей фирмы кое-что значит... ги, ги, ги! Ну-с, двинемся теперь в дининг-рум, а то и места не сыщешь.

В ресторане Петр Евсеич тоже казался веселым, но, против своего обыкновения, мало ел, не критиковал кухню и не старался заводить споры. За вторым блюдом он вдруг заговорил о своем состоянии, о том, что может передать Наташе сейчас и что после смерти, и все это каким-то нотариальным слогом... Струкова передернуло и от этого слога, и от того, что Перелыгины оказывались гораздо богаче, нежели он предполагал, судя по их скромной жизни в Лондоне.

– Я должен заявить, что мой доход не больше пятисот рублей, – перебил он почти неприятным голосом, – именице мое заложено и то, что взято под него в банке, почти все уже истрачено за границей.

– Ну, какой же ты мне муж после этого! – со смехом воскликнула Наташа.

– Вот почему мне бы и хотелось, чтобы ты имела не больше моего.

– А наши затеи, миленький? Школа? Ссуды? Медицинская помощь? Ферма?.. Да что о чем заговорили... Ни слова о презренном металле, материалисты...

Но неловкое настроение возвратилось, когда речь зашла о свадьбе, о том, что потребуется двойная процедура: присоединение Наташи к православию, и венчание, и возможно ли все это устроить в Париже.

– К чему же это? – тоскливо протянул Петр Евсеич. Струков подумал, что его смущает переход дочери в православие, и, внутренне улыбнувшись на такую сектантскую закоренелость в «вольнодумце», начал прибирать доказательства в пользу того, что это лишь одна форма.

– Да и я говорю форма, – с кислой усмешкой сказал Петр Евсеич, – к чему же это-с?

– Но как же в таком случае? Я не понимаю.

– Помилуйте, чего же тут не понимать-с? Самое простое человеческое дело. Вам желательно жить с Натальей Петровной, ей – с вами, оба вы люди взрослые и в здравом уме, живите как хотите... покуда полюбится.

Струков потупился и с преувеличенным усердием стал резать ростбиф.

– Ты забываешь деловую сторону, – вступилась Наташа, – кто он таков явится в наш уезд? И как быть с цензом, если я буду незаконная жена? А главное – не стоит тебе кипятиться из пустяков.

– Окончательно выше моего понимания! – недовольно сказал Петр Евсеич, а к концу обеда спросил шампанского, торжественно поднял свой бокал и взволнованным голосом провозгласил: – Как вы там хотите, а по моему родительскому благословению ты, Алексей, будь ее мужем, и ты, Наталья, его женою. Считаю вас отныне в браке. – И, выпив вино, добавил с простодушной язвительностью: – Этак и развод обойдется дешево, ежели вздумаете расходиться... Ги, ги, ги!..

Сконфуженный Струков не нашелся, что сказать, и, не смея взглянуть на Наташу, стал прихлебывать маленькими глотками, а она проронила только: «Это еще успеется», – и, внимательно прищурившись, следила за игрою шампанского в своем нетронутом бокале... На самом деле ей вдруг отчего-то вспомнилась мать, и сделалось грустно, и захотелось остаться совсем, совсем одной.

После этого прожили еще неделю в Лондоне. Все время стояло почти непрерывное ненастье, а между тем в воспоминаниях Струкова эти серенькие, дождливые дни остались самыми яркими в его жизни. Как прекрасен казался ему великий город с туманными перспективами бесконечных улиц, с гремящим потоком кебов, омнибусов и железнодорожных поездов, с мелодическим звоном бубенчиков на конской сбруе, с безграничным морем колыхающихся зонтиков над идущей и едущей толпой, с строгими очертаниями зданий, точно выкованных из цельного куска темного, отполированного дождями и туманами железа.

Петр Евсеич «доглядел» коллекцию m-me Тюссо и «нумизматику» в британском музее, потом безвыходно засел в отеле над переводом пресловутого Courdaveaux. А молодые люди с утра уходили вдвоем и до позднего вечера скитались в дремучем лесу улиц и зданий. Струков, несмотря на то что провел в Лондоне уже два года, плохо знал город. В сущности, он легко разбирался только в улицах, примыкающих к Россель-стриту, да за последнее время изучил окрестности Лейстер-сквера, где находился отель Перельгиных, но дальше, и особенно на правом берегу и на окраинах, чувствовал себя без Бедекера точно в какой-нибудь тайге. И вот в этом-то и состояло теперь главное удовольствие. Они нарочно не брали с собой плана и не намечали цели своих путешествий, а условились раз навсегда, что совершен будет означать «направо», а полкроны – «налево», – монеты, сберегаемые Наташей на память об Англии, – и, обыкновенно, выходя из отеля, Наташа с серьезнейшим видом спрашивала: «Золото или серебро?» Струков, посмеиваясь, указывал на ту или другую ее руку с зажатой в кулак монетой, потом они останавливали омнибус, влезали на верхушку, укрывались кожаным фартуком и весело пускались в путь. Несмотря на пасмурное небо, а иногда и на сетку упорного мелкого дождя, с империала было так хорошо видно... Но лучше всего бывало, когда омнибус летел где-нибудь по Чипсайду или Странду, или Флит-стриту и вдруг разрывались тучи. В золотистом тумане испарений развевалась тогда картина такого невероятного многолюдства, такого захватывающего дух движения, что Наташа волновалась как от вина и, нетерпеливо теребя Струкова за рукав, восклицала:

– Смотри, смотри же, миленький... даже жутко!

Наконец омнибус останавливался; они шли пешком или нанимали кеб до ближайшей станции Metropolitan'a, покупали билеты, называя первый пришедший на память пункт, спускались в подземелье, долго иногда сидели там, наблюдая поезда, каждые пять минут извергавшие и принимавшие сотни пассажиров, затем, в свою очередь, брали приступом тускло освещенное купе, и выходили на свет божий где-нибудь далеко-далеко от центра, но где опять-таки тянулись бесконечные улицы и кишела несметная толпа. Впрочем, случалось попадать и в тихие места; поезд вырывался из туннелей и глубоких выемок, мчал их то в уровень с тротуарами, то выше домов, в окна мелькали почти деревенские виды... и вдруг – неизвестная станция. Струков с Наташей выбегали из вокзала, со смехом спрашивали друг друга: «Где же мы?» – и спешили занять места в неизвестно куда уходящем трамвае. Лошадка бежала умеренной рысцой вдоль по рельсам; по сторонам приветливо сверкали чистыми окнами однообразные особнячки с отполированными дверями, с блестящими от дождя деревьями, с цветниками против каждого дома; а не то тянулись бульвары вдоль широких превосходно вымощенных улиц или внезапно открывался свежескошенный луг с играющими на нем детьми и молодежью, если не было дождя. «Да где же мы?» – спрашивали наши путешественники у соседей, и оказывалось, что это давно уже не Лондон, а какой-нибудь Фулям, или Гаммер-шмит, или Чизвик. А тем временем трамвай доставлял их на площадь непременно с кабаком посредине и останавливался. Час или два бродили они по городку, потом брали вечно угрюмого кебмена и ехали к Темзе, и пароход опять привозил их в самое пекло.

Скитаясь таким образом, они заходили в какой-нибудь dimingroom или luncheonbar, обедали с необыкновенным аппетитом или наскоро съедали кусок мяса стоя у прилавка. И сколько было переговорено во время этих беспцельных странствий и длинных обедов с глазу на глаз. Сколько было сделано планов, какие широкие намечены перспективы... Жизнь великого города точно подзадоривала из своим серьезным темпом, и Наташа соглашалась теперь, что это «подзадоривание» совсем не то, какое чувствуешь в Париже.

– Пойми ты, дорогая моя, – с увлечением говорил Струков, – в Париже даже камни, вроде знаменитой стены в Риге – Lachese, вопиют о кровавых традициях, о страстной нетерпимости партий, о безграничных претензиях государственности, о могуществе произвола, фразы, декламации, абстрактных идей, о торопливых достижениях свободы и столь же торопливых

отречениях от нее... Я не спорю, временами этот способ развития страшно красив, – куда медлительной Англии...

– О да, страшно красив! – восклицала Наташа.

– Пусть так; зато именно в Англии что достигается, то прочно, и в конце концов без особых катаклизмов утверждено почти совсем человеческое общежитие... во всяком случае, человечнее французского.

– Миленький мой, а колониальная политика? А Ирландия? А кое-какие делишки в Индии? А пауперы – этот ужасный Уайтчапель, где мы вчера так долго бродили?

Но Струков красноречиво напоминал ей, что такие грехи везде есть и даже в превосходной степени, и нет нигде столь искренней и дружной работы для осуществления самой бескорыстной справедливости. Во Франции, говорил он, все возлагается на правительство, в Германии – на дисциплину партий и ферейнов, здесь – главным образом на свободную личность, на ее права, инициативу, волю. И указывал на возрастающую деятельность английской интеллигенции в сфере разных общественных вопросов, на возрастающее уважение к чужим верованиям, правам, интересам, на эту законность в крови, на спокойное чувство личного достоинства, одинаковое у лорда и простого рабочего, на поступательный ход нравов, идей, отношений, делающий то, что Англия Диккенса и Теккерея быстро становится анахронизмом. Наташа слушала, любовалась убежденным лицом Алексея Васильевича и серьезным звуком его голоса, – и почти всегда соглашалась, ее столько от его слов, сколько от этого выражения убежденности в его голосе и лице. Впрочем, иногда и спорила... Раз в каком-то предместье им встретились на улице каменные свежеокрашенные столбы, на которых когда-то навешивались ворота, загораживающие улицу; в столбах и теперь виднелись прочные крюки для петель. Прохожий объяснил им, что, начиная отсюда, городок стоит на земле его лордства герцога Аргайля и что этот герцог, если захочет, может во всякое время навесить ворота и запереть улицу. Наташа ужасно возмутилась такой прерогативой его лордства, и вот тут-то вышел у ней с Струковым горячий спор. Алексей Васильевич настаивал, что и это хорошо; что в этом оказывается глубокое чувство законности – благодетельный дух компромисса, при котором развитие гораздо прочнее, нежели при насильственном истреблении каких бы то ни было столбов.

– Разрушать легче, чем видоизменять, – убеждал он рассерженную Аргайлем Наташу, – зато разрушенное легче и восстанавливается, и иногда в худшей форме. Аргайль, конечно, никогда не запрет улицу: его столбы – лишь символы, увядшие листья старого законодательства. А вспомни вандомскую колонну... и еще многое, что было разрушено и расцвело снова.

– Но ты скажешь, что и розги хороши, если они в законе? Что и это варварство нужно видоизменять, а не истребить сразу и с корнем?

Струков возмущался таким толкованием, говорил, что против «варварства» нужно бороться решительно, сметать его, по возможности, до основания, но что борьба-то пусть будет целесообразна, – и в конце концов и на этот раз почти убедил Наташу... опять-таки не столько аргументами, сколько выражением голоса и лица.

Но обращаясь к далекой родине, они были всегда единомышленны. Дружно мечтали, как будут работать там вот на такой закономерный лад, как в не столь отдаленном будущем гоголевская и щедринская Россия тоже сделается анахронизмом – и без всяких «революций», а постепенным развитием сознания, законности, довольства, бескровными жертвами, культурными силами, осуществлением скромных задач. Правда, в этих дружных мечтах сквозили различные точки зрения: было заметно, что Наташа строила планы без всяких особых соображений, а просто потому, что любила деревню и простых людей, и еще любила того человека, с которым собиралась «работать». Струков же больше всего любил «человека», то есть ее, Наташу, а деревенскую деятельность, как и прежние ученые свои планы, определял «трезвыми» доказательствами, основанными, как ему казалось, на строгом, почти лабораторном опыте. И иногда случалось, что Струков замечал эту разницу в точках зрения. Еще чаще замечала такую раз-

ницу Наташа, и, кроме того, замечала непоследовательность Алексея Васильевича, – то, что ему не удастся перекинуть мостик от Маркса к русской деревенской деятельности... Но, боже, как это было смешно и незначительно в сравнении с чувством, волновавшим их сердца, и как быстро проходило от одного пожатия руки, от восхищенного взгляда, от пламенного поцелуя где-нибудь в полумраке случайно опустевшего купе или в закрытом кебе.

А вечером, перед ярким огнем камина, возникали нескончаемые споры с Петром Евсеичем. Сказать по правде, тот порядком-таки отравлял жизнерадостное настроение молодых людей. Это-то ничего, что в разговорах о любви он опять ссылался на «аристовщину», как на «самое разумное разрешение вопроса»: Струков уже знал теперь, каких мнений придерживается Наташа, и возражал старику без особой горячности. Но Перельгин раздражал его своим скептицизмом и зловещими предсказаниями в области тех надежд, которыми они с Наташей теперь пламенели, и с этим-то Алексей Васильевич спорил до крика, до хрипоты в горле, до озлобления. Тем более что в словах Петра Евсеича грезилась ему какая-то страшная правда. Тот ни во что не верил в России: ни в народ, ни в командующие классы, ни в либеральные, ни в консервативные законы. На всякое возражение Струкова он приводил ошеломляющие факты, – и не из писаной истории, о которой утверждал, что это сплошная басня, а из истории неписаной, но всем известной, и из своих отношений с народом и интеллигенцией, с высокими и малыми вершителями отечественных судеб. Фирма «Евсей Перельгин и Сын», теперь ликвидированная, вела в свое время миллионные обороты и давала возможность Петру Евсеичу сталкиваться с разнообразными людьми не только по своим делам, но и в качестве представителя от целого промышленного района – от города, от хлебных торговцев, от владельцев баржей и пароходов. Кроме того, после смерти отца он с жадностью неопита сближался с «передовым обществом», – даже с пропагандистами семидесятых годов, бывшими на Волге, – и вот отовсюду извлекал унылые выводы. А Струкову больше всего было досадно то, что он чувствовал преувеличенные краски в наблюдениях Петра Евсеича, видел «психологический источник» такого преувеличения – и не мог доказать это, потому что сам-то знал русскую действительность только по книгам.

– Во что же вы верите наконец? – спрашивал он. Несмотря на то что в Кью-Гардене Петр Евсеич назвал его «Алексеем», они так и остались на «вы».

– Да как сказать... В силу здравых привычек, пожалуй, верю, – отвечал Петр Евсеич, но тут же прибавлял, что сила эта разливается так, что на расстоянии веков и не заметишь простым глазом: подвинулась она хоть на крупину или нет.

– Но можно ли отрицать, что именно хорошие законы да хорошие люди, вооруженные их властью, и подвигали эту вашу силу. Да не на крупину, а совершенно преображая страну.

– Отвод глаз, Алексей Васильич, не иначе, как отвод глаз. Это все на бумажке-с, не взаправду-с, не на самом деле. – И Петр Евсеич демонстративно вынимал платок, демонстративно сморкался в него и говорил: – Вот-с, с любезного вашего дозволения: обходимся с помощью платка-с, не в палыцы, как мой тятенька-покойник, и это взаправду-с, это очень прочная реформа... Ги! ги! ги! Потому что установлено, здравая сила утвердила, в привычку вошло-с. И что ты там в законах ни пиши, я обходиться без платка не согласен-с.

– А я скажу, как у Фонвизина: кто же был первый портной? С кого брать привычки и как их внушать?

– Именно таким манером и внушать, как вы испугались в Кью-Гардене... Ги! ги! ги! Надо по рассудку поступать-с, ни на что не взирая-с. Вот и будете первый портной. Окольные же пути, как их ни называть, все – лганье, всякий компромисс – лганье... отвод глаз. С какой стати-с?

– Удивительно что вы говорите! Не компромиссами ли и раскрывается исторический процесс? Не карается ли человечество огромными бедствиями, если оно сходит с пути ком-

промиссов? Наконец о законах... Освобождение крестьян, судебные уставы шестьдесят четвертого года, земство, – это все отвод глаз? Лганье, по-вашему?

Но тут Перелыгин заливался почти до истерики.

– Ничего нету-с, – кричал он, – ярлычки переменили, назвали по-другому, а то ничего нет-с, все по-прежнему-с! Поживите в деревне, сами увидите. Умный человечек написал: нельзя освободить людей свыше того, чем они освобождены внутри... Александр Иванович Герцен написал-с! Не спорю, хорошего много обдумали... и люди были хорошие... а на самом деле только лишь и осталось, что ярлыки. Крепостные по-прежнему – беднее разве сделались; суд – по-прежнему, легче только сутяжничать; земство, – ну, сами увидите, в чьих оно руках... Да еще подождите, не за горами дело-с, почитайте-ка, что в матушке Разсее черным по белому печатают... (Петр Евсеич, когда сердился на отечество, произносил не «Россия», а «Разсея».) Будут вам уже реформы!

– Что же, вам остается, значит, радоваться, – ядовито замечал Струков, – а мы с Наташей не правы, и нечего нам делать в России. Говорите же, нечего нам делать в России?

Но на это Петр Евсеич уклончиво разводил руками и отвечал обычной своей поговоркой:

– Окончательно выше моего понимания!

Тогда вступилась Наташа.

– Ну, ты, Петр Евсеич, совсем зазнался, – с неудовольствием говорила она. – То у тебя мерзко, это непрочно, черный народ – дикари, чистый – хамы, интеллигенция – тепличный выводок... Слыхали мы!.. А когда веришь? А когда любишь? Когда здесь, здесь и то вспомнишь нашу Волгу, наши поля, наших милых простецов, так и загорится душа по ним... Отчего это? И что ты твердишь: земство – вздор, мировой суд – вздор, освобождения не бывало: – дедушка Евсей такой же миллионер был, а губернатор ногами на него топал, за бороду его хватал... Кто на тебя осмеливался топать?

– Меня хранил еще господь, а в Москве в части присяжного поверенного выдрали... Ги! ги! ги!

– Это уголовщина, – воскликнул Струков, – и о ней печатают в газетах. Наташа вам говорит о нормальных приемах власти, а не об уголовных преступлениях. Так нельзя затемнять вопрос.

Петр Евсеич внимательно посмотрел на них и покачал головой.

– Ну, быть так, – сказал он, – Кое-что смягчилось... Что же из того? Сила здравых привычек свое взяла.

– А коли взяла, надо ее развивать дальше, – горячо утверждала Наташа. – И всеми способами, а не по-твоему, в одну точку. Посмотри, что здесь делается... Вот люди-то не спят.

– Что здесь? Пристальной поглядеть, и здесь одна меледа, – говорил Петр Евсеич. – «Ловля у львов – дикие ослы в пустыне, так пастбища богатых – бедные», – сказано у Сираха... Это и у нас, и здесь в одинаковом положении. Суета-с.

– Ну, и я спрошу, как Алеша: чем же ты живешь?

– Да, да, чем вы живете? – повторил Струков, вскакивая со стула.

– Любопытством, – спокойно отвечал Петр Евсеич. – Да и вы, дозвоьте вам сказать, тем же-с.

Но тут спор переходил совсем в отвлеченности, подымался такой шум, и сюжет столь быстро запутывался, что Наташа отчаянно махала руками и просила перестать. И, обыкновенно, Струков смолкал первый, Петр Евсеич учтиво улыбался и напоминал дочери слова приснопамятного протопопа: «А что противятся друг другу – пускай так! Грызитесь гораздо, токмо праведне и чистою совестью разыскивайте истину». И все смеялись от этих старых слов; за всем тем, возвращаясь к себе на Россель-стрит, Струков уносил нехороший осадок на душе, и только завтрашний день исцелял его своими скитаниями, разговорами вдвоем, мечтами вслух, сладкими поцелуями где-нибудь в закрытом кебе или в случайно опустевшем купе.

Вот эти поцелуи... Ужасно смущал Петр Евсеич молодых людей тем, что иногда возвращался к своему кью-гарденскому провозглашению, и недоумевал, отчего Струков не переберется из Россель-стрита в их отель. Алексею Васильевичу чудился в этом какой-то старческий цинизм; Наташе просто не нравилось, когда говорят о таких вещах, хотя она и знала, что это вовсе не цинизм, а действительное убеждение Петра Евсеича. В сущности, и Наташа и Струков ошибались. Петр Евсеич действительно был убежден в ненужности обряда и с несколько смешной нетерпеливостью хотел доказать на деле, как он смел и свободен в своих взглядах; но в глубине-то души он и по другим причинам не желал бесповоротных обязательств. В какую-нибудь особенную «любовь» он не верил; к Наташе был страстно привязан. К Струкову относился втайне почти презрительно, – и за то, что тот «барчонок», и «робок в мыслях», и равнодушен к богословским вопросам, и «ничего не понимает в России»... И вот Петр Евсеич думал про себя, что дело тут не в любви, а в молодой страсти, что когда утолится страсть – пройдет и то, что называют любовью, и Наташа останется при нем.

Отчасти Петр Евсеич был прав: беспощадная власть молодости, крови, физических влечений все сильнее захватывала Наташу и ее названного мужа, может быть, еще оттого, что они, смущенные смелостью Петра Евсеича, таились с этим не только от него, но и друг от друга. Впрочем, Наташа совершенно не понимала, что с нею делается. То, что она знала о брачных отношениях, – а знала она довольно, – совсем не имело значения в странном состоянии ее духа. То было ясно, как в анатомическом атласе... и грубо, как все, что превращает человека в орудие пользы, в какую-то производительную машину, в животное. Но то, что она испытывала теперь, было совсем не ясно и очаровывало ее чем-то непостижимым. С каждым днем она находила все большее наслаждение в присутствии Струкова, в том, чтобы не отрываясь смотреть на него, слушать его голос, загораться восторгом от прикосновения его руки к своей, от его поцелуев и признаний. Она долго не спала по ночам, во сне волновалась грезами, просыпаясь мечтала... О чем?.. И сама не могла бы ответить, но в этих грезах и мечтах не было ни одной черточки из грубых теорий Петра Евсеича, ни одного чувственного образа. Все ее существо сосредоточилось в каком-то стремлении; в душе звучала упоительная музыка... без слов, без определенных представлений, – и с каждым днем мысли складывались труднее и труднее, уступая волнам беспричинной радости, беспричинной тревоги, растворяясь в мечтах... иногда даже в слезах. Но она не чувствовала себя глупее, как это говорят про влюбленных; она только понимала не одним умом, как прежде, а чем-то другим, и понимала несколько иначе, чем прежде. Лучше даже сказать – угадывала, как угадывала, о чем думает Струков, что он хочет сказать, в каком находится настроении. Это было похоже на ясновидение. И как в Струкове нечто из его душевного мира было ей совсем недоступно, так не замечала она и той зловещей стороны жизни, о которой пророчествовал Петр Евсеич. Жизнь ей представлялась в каком-то особом освещении, без темных подробностей, без осложненной сумятицы вещей и обстоятельств; в грядущем разверзались перед нею бесконечные дали... И все в этой бесконечности играло теми же радостными и тревожными цветами, как и в ее глубоко взволнованной душе. Что ей было за дело, что Россия не Англия и что их с Струковым планы фантастичны. Зато ничуть не фантастичны силы, с каждым днем выраставшие в ее душе, не фантастично чувство беспредельной любви к «Алеше», и, в его лице, к России, к человечеству, ко всякому дыханию, что хвалит господа на этой прекрасной земле, – чувство, напряженное до восторга, до упоения, до какой-то сладостной боли.

И вот в соответствии с таким настроением Наташи исчезли капризные очертания в ее характере; она сделалась нежна, послушна, ласкова и все ярче расцветала той поразительной красотой, что светит изнутри от воспламененного любовью сердца.

И по временам ей ужасно хотелось забыть свои «трезвые» взгляды, отдаться во власть чрезвычайных влияний, перейти в то далекое детство, когда жилось точно во сне и действительность неразрывно сплеталась с чудесами. Но об этом она ни слова никому не говорила,

это был ее самый строгий секрет... Раз она проснулась очень рано, долго лежала с полужакрытыми глазами, вздыхая и заламывая руки, и вдруг вспомнила, что сегодня воскресенье, а завтра решено уезжать из Лондона. Почти не отдавая себе отчета, что делает, она быстро и беззвучно оделась, взяла завтрак и, сказав внизу, что скоро вернется, пошла к Вестминстерскому аббатству. Легкий туман висел над городом, местами сквозь него янтарным пятном просачивалось солнце... Улицы были пустынные. Наташа остановилась против аббатства, взглянула ввысь – стрельчатые башни точно таяли в загадочной дымке – и с трепетом вошла под аркады «северных дверей». Служба еще не начиналась, хотя церковь была уже полна народом. Стояла глубокая тишина. В разрисованные окна мерцал какой-то нездешний свет; в этом странном мерцании задумчиво обозначались белые статуи, тускло блистала позолота резьбы королевских гробниц и катафалков, удивительной часовни Генриха Седьмого... В вышине огромных сводов клубился непроницаемый сумрак. Наташа протеснилась к любимому своему памятнику, – к мраморной группе Рубильяка, полной такого движения, ужаса, злорадства и такой самоотверженной любви; внимательно, в десятый раз, всмотрелась в лицо старого Найтингала, отражающего копье смерти от своей молодой жены... и, сдерживая подступающие слезы, опустилась на колени. Это был совсем не тот Найтингаль, что прежде, и не та была смерть, не та умирающая женщина, – и церковь с бесчисленной толпой своих изваяний совсем не походила на «достопримечательность», отмеченную двумя звездочками у Бедкера. Все теперь приобрело особый смысл в глазах Наташи, преобразилось из вещественного в мистическое, в какую-то тайну.

Кто-то заговорил слабым, теряющимся в пространстве голосом; кто-то ответил торжественным баском... В храме пронесся шорох и шепот, и вдруг с вышины раздался гул, всюду заколебались волны звуков... Гремел орган; в сложную гармонию сливались голоса многочисленного хора, в цветных лучах в каком-то новом значении оживали мраморные короли, рыцари, поэты, – великие люди Англии... Тайна задумчивой тишины и пластических очертаний превращалась в тайну звуков, в движение, во что-то такое, отчего холодело сердце Наташи и высоко подымалась ее грудь. Как назвать это впечатление? К какому разряду «гипноза» его причислить? Она об этом не думала; да и ни о чем не думала, а по-детски всхлипывая от душивших ее сладких слез, крестилась двухперстным, раскольничьим крестом и шептала полузабытые молитвы.

Дома ее встретили расспросами; краснея и волнуясь, она ответила, что гуляла, потому что разболелась голова, и не только в этот раз, но и никогда, никому не рассказала о своем посещении Вестминстерского аббатства накануне отъезда из Лондона. И не оттого, что стыдилась, а по какому-то другому чувству.

Алексей Васильевич был из тех не первой молодости людей, о которых принято говорить, что они высокой нравственности. Случилось так, что в гимназии он уберегся от патологических примеров, что женская прислуга в доме его тетушки состояла из двух богобоязненных старушек и что вместо нынешней заразы фривольного чтения, щегольства, внешнего благонаравия и детских балов он воспитывался в ту эпоху, когда с юных лет заражались великодушными мечтами, презирали «эстетику», увлекались не романами и не расслабленной лирикой наших дней, а прямолинейной литературой шестидесятых годов и коренным переустройством обветшавшего мира. На втором курсе он, сам того не замечая, сошелся с предприимчивой горничной из меблированных комнат, пытался было просветить ее и даже искупить свое увлечение женитьбой, но скоро самым предательским образом был покинут, и, что всего обиднее, ему предпочли франтоватого шпиона, специально надзиравшего за студенческим населением меблированных комнат. Потом Алексей Васильевич поддавался от времени до времени той распространенной мысли, что «воздержание – нездорово», и делал, как все, – и, как все почти молодые люди того времени, с чувством отвращения вспоминал об этом, терпеть не мог игривых намеков, разговоров и анекдотов; даже не выносил серьезных рассуждений на эту тему. Одним словом, был действительно чистый и целомудренный человек и в своих глазах, и в гла-

зах всех его знавших. Тем не менее как ни возвышенно он полюбил теперь, для него было невозможно думать о своей любви с девической неопределенностью. В противоположность Наташе, он отчетливо сознавал, что опьяняет его и огнем разливается по его жилам... Правда, он возмущался предложением Петра Евсеича «переехать из Россель-стрита»; считал кощунством вообразить о Наташе как о существе иного пола; стал бы презирать себя, если бы намеренно домогался супружеских отношений с этой прелестной девушкой, но вместе с тем всеми силами души желал ее, и без всяких низких расчетов, с очень благоговейными словами на устах, но с внутренним упорством одержимого в ней самой стремился пробудить определенное желание.

III

Перелыгины приехали в Англию через Кале и Дувр, но теперь Наташе очень хотелось увидеть «настоящее» море, и они выбрали более длинный путь, на Ньюгевен и Диепп. Поезд примчал их в английский порт к одиннадцати часам ночи. В дороге Наташа была очень грустна и рассеянна; по временам у нее даже навертывались слезы... А Петр Евсеич беспрестанно открывал окно, осведомляясь, есть ли ветер. Ветер был, но это могло происходить и от неимоверной быстроты экспресса, как утешал Петра Евсеича Струков. Однако в Ньюгевене окончательно выяснилось, что это не от экспресса: Ла-Манш шумел, и, стоя на пристани, нужно было придерживать шляпу. По небу торопливо бежали косматые тучи; из-за них мгновениями светила луна, разливая неверный, дрожащий свет. Петр Евсеич совершенно растерялся и бормотал, что нужно «переждать», что в жизнь свою он не испытывал такой мерзости, как между Кале и Дувром, и не хочет повторения. Наташа ждать не хотела, да, по убеждению Струкова, это было бы и бессмысленно, но, в свою очередь, впала в угнетенное состояние духа и едва ли не плакала от досады. Она больше всего боялась, что не увидит «океана», не будет в состоянии последний раз взглянуть на берега Англии, где под туманами и дождем светило для нее ласковое солнце первой любви и возвышенных мечтаний. Между тем в колеблющемся полусумраке пароход быстро наполнялся народом. Нельзя было дозваться носильщика в этой суете, да и никто, казалось, не нуждался в этом, кроме Петра Евсеича, беспомощно стоявшего перед кучей щегольских своих саков, купленных в Лондоне и набитых разными изящными пустяками лондонского же производства.

– Окончательно выше понимания, какой дурацкий порядок! – сердито твердил он и однажды сказал даже, что в России гораздо насчет этого превосходнее, причем едва ли не в первый раз выговорил «Россия», а не «Разсея». Струков невольно подумал про себя, что вот и внук саратовского мужика, а как усвоил барские привычки, и, презрительно усмехнувшись, проворно стал забирать довольно-таки тяжелые вещи. Петр Евсеич рассыпался в учтивых извинениях и, угловато сгорбившись и неловко семеня ногами, в свою очередь, подхватил какой-то тюк. А как только взошел на пароход, тотчас же затосковал и, с великим трудом пробравшись с помощью кроны в переполненную каюту, с видом мученика лег на диван.

Алексей Васильевич не боялся качки. Морской воздух и этот резкий ветер, насыщенный солью и запахом водорослей, как-то особенно приподымали его настроение... Но и он был не в духе. Он решительно не понимал, отчего Наташа с такою грустью уезжала из Лондона, отчего всю дорогу не обращала внимания на его влюбленные взгляды, на ласковые слова, произносимые украдкой, на пожатие руки, отчего ее лицо сделалось таким холодным и неприятно озабоченным, как только они очутились на пристани... То есть он знал отчего, но оскорблялся, что его присутствие не делает ее равнодушной к разлуке с Лондоном, к ожиданиям морской болезни, к тому, что пришлось суетиться с вещами и проталкиваться на пароходе с помощью локтей. В сущности, как и везде в последнее время, но на этот раз с особенной раздражительностью Струков ревновал Наташу к тем мыслям и ощущениям, о которых она не считала нужным говорить ему.

Сложив в кучу вещи, они уселись около них на скамье, прислоненной к борту. Это было наверху, на палубе первого класса, и так как там было ветрено, а порою через борт взлетали брызги, то вся публика ушла в каюты и туда, где было затишье и тепло от трубы. Наташа молчала с полужакрытыми глазами, точно прислушиваясь внутри себя; Алексей Васильевич ожесточенно курил... Снизу был слышен говор почти на всех европейских языках; ветер хлопал растянутой парусиной, отделявшей палубу первого класса; где-то стучало, откуда-то раздавались командные крики... Пароход вышел на взморье.

– Миленький мой, – вдруг радостным голосом воскликнула Наташа, – знаешь ли, я совсем, совсем не чувствую качки!

– Да ее и не будет, – сухо сказал Струков.

– Но как же, такая буря?

– Ничего не значит: пароход перерезает волны. И потом, разве это буря? Просто – свежий ветер.

– Да, свежий... Ой, как нас трепало тогда, а ветер был меньше. Совсем, совсем не чувствую!.. Ах как хорошо! Дай мне руку. Ты сердишься, глупый? Пойдем к корме. Держи меня крепче... Дружок мой, смотри на эти берега... Милая, милая Англия, никогда тебя не забуду! А ты, Алеша?

– Ты простудишься, Наташа. Вот сорвало твою шляпу... Хочешь, достану макинтош? Надень, пожалуйста.

– О, какой ты злой! Ну, давай скорее... И капюшон на голову?.. На кого я теперь похожа!.. Но если б ты знал, как мне было больно расставаться с Лондоном.

– А помнишь, ты все бранила его и хвалила Париж?

– Разве? Это, должно быть, чтобы рассердить тебя... Боже мой, как мне жалко, что мы уехали! Друг мой, не воротится это, не повторится. Может быть, лучше будет, – не хмурься, – но никогда, никогда не повторится... Ну, все равно. Вон берега... видишь? И луна, и тучи, и волны шумят... О, дорогой мой, как я теперь счастлива. Ведь это настоящий океан? Смотри вот в этом направлении – ведь тут все море и море до самой Америки?

– Я думаю, в этом направлении остров Уайт, не больше.

– Ну, все равно, Уайт так Уайт, – ты это мне назло... желанный мой! А в какую сторону Джерсей? Помнишь *Les travailleurs de la mer*?⁴ О, если тебе открыться по совести, я была влюблена в Жильята... Но расскажи, отчего ты такой нехороший, – правда, сердишься за что-нибудь? Правда? – И она приближала к нему лицо свое, вкрадчиво заглядывала в его глаза, проводила рукою по его щеке.

⁴ «Труженики моря» – роман В. Гюго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.